



Мне далеко недалеко до слова:
я прочно встал у бога на крыльце,
как твёрдый знак в начале злого слова,
а хочется — как мягкий знак в конце.

И, раскарябав звукорябь тугую,
коварно подменившую асфальт,
переступаю с левой на другую,
которую и правой не назвать.

Трясу листвы усталые поджилки,
рублю гортанью воздуха вино,
а компроматы пухлые подшиты
к безделью моему уже давно,

зато — мне никуда не надо пехать
и некому и нечего пихать,
когда белеет буквенная перхоть
на голове немытого стиха.

Я знаю: истончится век-дистрофик
и, утекая, как река в Аид,
среди других и этот пятистрофик
меня к себе ещё приговорит.

Когда меня прибьют
Весёлые князья,
То издадут трибьют
Моих стихов друзья.

Их зачитают вдрызг
К. А., А. К., А. В,
И кто-то даст на диск
Какое-то лавэ.

И буду я звучать,
И будет диск играть.
Чем не резон начать
Спокойно помирать?

И может, дрогнет вскользь
Рука или спина
Той, что мне довелось
Любить — Е. В., Н. А.,

О. Л., опять А. К.
Но надо по уму —
Ещё живой пока —
Читать их самому.

К СЕБЕ

Я открываю и вхожу,
и закрывается за мною.
Я сбрасываю паранджу
с души и вижу паранойю —

какой-то наркоманский мульт,
где голых голосов глоссарий
листают илистую муть
чужими бледными глазами.

Я вижу сердца бересту
с на ней изображённым сердцем.
Сердце я слышу перестук
(как бы за солью, по-соседски).

Я вижу ясли и детсад,
я вижу лагерь пионерский,
где дядя Миша самосад
курил когда-то страшно зверский.

Я вижу скорый путь домой,
я вижу смятые постели,
я вижу, как передо мной
прилавки памяти пустеют.

И возникает вместо них
из сумрачного кулуара
какой-то одинокий псих
с повадкой Поля Элюара.

Он говорит мне: «Подойди!» —
и я протестовать не смею.
Он говорит мне: «Подожди!» —
и начинает эпопею

повествовать мне обо мне,
о вечной жизни на измене,
о недостаточном ремне
и о духовной гигиене.

И плавятся мои мозги
(одна неделя, три ли, две ли),
и я вымалвливаю — сгинь,
и лопаются настежь двери.

И я на твёрдый гололёд
иду, сожравши зимний воздух,
и надо мною небосвод
растёт в себя из звёзд навозных.

И мне округа не претит,
вздувающаяся, как сдоба,
но никуда мне не прийти,
поскольку некуда особо.

Гуляю с плеером в ушах,
в нём рок-н-ролл забойный.
Я сам себе и падишах,
и шах, и мат заборный.

И мне не в масть ни лесть, ни месть,
ни флаг, ни герб, ни выпел,
и, как всегда, забыв поесть,
я вспоминаю выпить.

И снится мне всё реже сон
о вежливых пилатах,
и если я не режиссёр
себе, то оператор.

Расшатывая свой каркас,
шатаюсь по проспектам,
не брат, не сват, не ананас,
не сторож, не инспектор,

не обыватель, не халдей,
а виршеплёт беспечный.
Как много временных людей,
да я и сам — не вечный.

Остановка сердца и трамвая
на одном заброшенном кольце,
языком с корнями отрываю
право не закончиться в конце.

Может быть, мне в этих джунглях лживых
полюбить ли, встретить ли кого ль,
чтоб в моих остекленевших жилах
кровь переписала алкоголь.

Под хмельком химического смеха
мрёт апрель, сгибает май его.
В схиму перекрасится ли схема
тихого трезвенья моего?

Только сердце — это не река же,
из которой я еще напьюсь...
Если хочешь, ты ему прикажешь,
жаль, что я приказывать боюсь.

Слеза слезу перечеркала
под ропот радости пустой,
но длился шаг стиха чеканный,
хромированный хромотой.

И умирающая тема
под гнётом ласки болевой
не удержала тяжесть тела
и лёгким сделала его.

Но возвращая небу манну,
испаринной на белом лбу —
слова остались на бумаге,
не сказанные наобум.

С утра говорю я «опаньки»
крови своей и плоти.
Плаваю в собственном опыте,
как чернослив в компоте.

В пустошь шпионом посланный,
злой предаюсь печали,
смысл надевая на слово,
как на ладонь перчатку.

А за окном — ну надо же —
свет мне маячит стылый
и говорит, что надо жить,
смерть огибая с тыла.

В мир, что распахнут форточкой,
выйти и обомлеть.
Будешь гадать по фоточкам —
вспомни и обо мне.

Любовная речь — детский лепет,
что стоном кислотным пропах.
Оставил я спать те скелеты
в запаянных глухо шкапах.

Но вставшим с перины чудесной
флаг в руки и флягу в трусы.
Пусть бодрые спиричуэлсы
поют им дворовые псы.

Пусть в каждой иголке, гвозде ли
огня бьётся острая нить,
ведь тех, кто друг друга раздели,
не так-то легко разделить.

И тех, кто едину соль ели,
не сманишь пустым сахарком.
(Пока погибает Сальери
немотствует Моцарт тайком.)

Пусть шаг будет тверже, слух тоньше,
пусть звери им будут — свои
и пусть ни один не слутошит
дотошный их поисковик.

Пусть им на кабине сортирной
поэт посвятит лимерик,
не тронет их жалом сатирик
и радостно встретит старик.

И слух о любви их столетней
воткнёт в уши дурней и дур
стрелявший из двух пистолетов
по ним вездесущий амур.

Минуй их любая оплошность,
расход обойди и распил!
Но их накрывает обложкой
со словом уютным «Шекспир».

Не спеши — твой стих не спишут,
у тебя во власти он,
а за спинами — всё спин же
непролазный бастион.

Что ты скажешь этим спинам —
прямызна их так горда —
пусть, как по древесным спилам,
будут по стихам гадать.

Ты суров и несговорчив,
всё что за спиной твоей —
слово спинномозговое —
не молчанья рыхлый клей.

Встань спиной к спине со смертью,
шаг дуэльный вспять направь,
не рассчитывай — посметь бы,
смей! — и напролом и вплавь.

По тоске, кривой, свекольной,
неслучайной рифмой вдарь
и смотри уже спокойно
в спины уходящих вдаль.

Торшер горит весьма неместно
(не для меня, а ночи для).
Моя пожухлая телесность
не жаждет наступленья дня

с его ощером кривоватым
который сквозь посредство глаз
мой свет неровный, прикроватный
стремится обесмыслить враз.

Мой красный свет, куда летим мы,
ломаая тишины редут?
Кто наш полёт нелегитимный
подвергнет радостной редук-

ции и остановит,
и невозбранно перервёт,
когда легок и костоломен
в молчанье звука перевод?

Всё это дело пары суток,
но нежеланье мне зачти
уснуть, проснуться, сполоснуться
и миром полоснуть зрачки.